



С. Н. БУЛГАКОВ

Жребий Пушкина

1

Русский народ, вместе со всем культурным миром, ныне поминает великого поэта. Но никакое мировое почитание не может выявить того, чем Пушкин является для нас, русских. В нем самооткровение русского народа и русского гения. Он есть в нас мы сами, себе открывающиеся. В нем говорит нам русская душа, русская природа, русская история, русское творчество, сама наша русская стихия. Он есть наша любовь и наша радость. Он проникает в душу, срастаясь с ней, как молитва ребенка, как ласка матери; как золотое детство, пламенная юность, мудрость зрелости. Мы дышим Пушкиным, мы носим его в себе, он живет в нас больше, чем сами мы это знаем, подобно тому как живет в нас наша родина. Пушкин и есть для нас в каком-то смысле родина, с ее неисследимой глубиной и неразгаданной тайной, и не только поэзия Пушкина, но и сам поэт. Пушкин — чудесное явление России, ее как бы апофеоз, и так именно переживается ныне этот юбилей, как праздник России. И этот праздник должен пробуждать в нас искренность в почитании Пушкина, выявлять подлинную к нему любовь. Но такая любовь не может ограничиться лишь одним его славословием или услаждением пленительной сладостью его поэзии. Она должна явиться и серьезным, ответственным делом, подвигом правды в стремлении понять Пушкина в его творчестве, как и в нем самом. О том, кому дано сотворить великое, надлежит знать то, что еще важнее, нежели его творение. Это есть его жизнь, не только как фактическая биография или литературная история творчества, но как подвиг его души, ее высшая правда и ценность. Пушкин не только есть великий писатель, нет, он имеет и свою религиозную судьбу, как Гоголь, или Толстой, или Достоевский, и, может быть,

даже более значительную и, во всяком случае, более таинственную. Поэт явил нам в своем творчестве не только произведения поэзии, но и самого себя, откровение о жизни своего духа в ее нетленной подлинности. Ныне изучается каждая строка его писаний, всякая подробность его биографии. Благодарным потомством воздвигнут достойный памятник поэту этой наукой о Пушкине. Но позволительно во внешних событиях искать и внутренних свершений, во временном прозревать судьбы вечного духа, постигать их не только в земной жизни, но и за пределами ее, в смерти, в вечности. Очевидно, такое задание превышает всякую частную задачу «пушкинизма». Оно и непосильно в полной мере для кого бы то ни было. И однако, оно влечет к себе с неотразимой силой, как к некоему хотя и тяжелому, но священному долгу, ответственности перед поэтом, нашей любви к нему. Итак, да будет венком к его нерукотворному памятнику и эта немощная попытка уразумения его духовного пути, в котором таится его судьба, последний и высший смысл его жизни.

Столетие смерти Пушкина... Тогда, сто лет назад, эта смерть ударила по сердцам как народное горе, непоправимая беда, страшная утрата. Она переживалась как ужасная катастрофа, слепой рок, злая бессмыслица, отнявшая у русского народа его высшее достояние. Это чувство живо и теперь. И ныне, через сто лет, смерть Пушкина остается в русской душе незаживающей раной. Как и тогда, мы стоим перед ней в растерянной безответственности и мучительном недоумении. И мы снова должны до дна испить эту чашу горькой полыни, сызнова пережить эту смерть во всей ее страшной, вопиющей бессмыслице: как будто свалившийся с крыши камень поразил насмерть нашего величайшего поэта и отнял его от нас в цвете творческих сил, на вершине мудрости. Даже хотя бы он погиб от вражеского удара, мы еще имели бы, на ком сосредоточить свой гнев. Но нет,

Жизнь его не враг отъял,
Он свою жертвой пал,
Жертвой гибельного гнева¹.

Пушкину суждено было пасть на дуэли под пулей Дантеса, пустого светского льва, юного кавалергарда, который к тому же выступил на дуэли вместо своего названного отца, по вызову самого Пушкина. Противник после выстрела в Пушкина ждал и принял его ответный выстрел и если не был им убит, то во всяком случае не по отсутствию желания к тому самого Пушкина. Презренье и гнев всех любящих поэта — во все времена и донь-

не — обычно сосредоточиваются на этом чужестранце, на долю которого выпала такая печальная судьба. Но если заслуживает всякого порицания его волокитство за женой Пушкина, впрочем столь же обычное в большом свете, как и в жизни его самого, то самая смерть Пушкина не может быть вменена Дантесу как дело злой его воли. Пушкин сам поставил к барьеру не только другого человека, но и самого себя вместе со своею Музой и, в известном смысле, вместе со своею женою и детьми *, со своими друзьями, с своею Россией, со всеми нами. Естественно, что в течение целого века — и в наши дни даже больше, чем когда-либо, — внимание русской мысли сосредоточивается около этой раны русского сердца, нанесенной ему у проклятого барьера. Как это могло случиться? Кто виноват? В чем причина страшного события? Ответ обычно дается таким образом, что вина и причина дуэли ищется вовне и в других, всюду, только минуя самого Пушкина. Так повелось начиная с Лермонтова, который, впрочем, все-таки не мог не воскликнуть:

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный?

Винили и винят «свет», жену поэта, двор. Теперь охотнее всего винят еще императора Николая I, будто бы находившегося в интимной близости с женой Пушкина (лишенная всякой убедительности новейшая выдумка)³. Иные из этих обвинений, конечно, по-своему бесспорны. Разумеется, светская среда, в которой вращался Пушкин (однако если не считать немало числа преданных ему и достойных его друзей), не соответствовала его духовной личности. Ему суждено было одиночество гения, неизбежный удел подлинного величия. Справедливо и то, что он страдал одинаково как от преследований, так и от покровительства власти, и от своего камер-юнкерского мундира, и от двойной цензуры, над ним тяготевшей. Справедливо, конечно, и то, что жена Пушкина со своими светскими вкусами не была на высоте положения, впрочем, может быть, и вообще недостижимой в данном случае. В совокупности всех обстоятельств, жизнь Пушкина, особенно последние годы, была тяжела и мучительна. Однако из этого все-таки не вытекает того заключения, кото-

* Пушкин по дороге к месту дуэли встретил свою жену, от которой отвернулся (жена его тоже не узнала)². В материалах нет никакого упоминания о его прощании с детьми перед дуэлью, да оно, конечно, и не могло иметь места. Семья, которую он нежно любил, как бы выпала из его сознания в этот роковой час.

рое обычно подразумевается или прямо высказывается, как очевидное, именно, что эти внешние силы как будто подавили личность самого Пушкина и что именно они — и только они, — привели его к роковой дуэли. Вообще осмыслить бессмыслицу ищут, лишь находя в злой воле других причину смерти Пушкина. Стремясь сделать его самого безответной жертвой, не замечают, что тем самым хулят Пушкина, упраздняют его личность, умаляют его огромную духовную силу. Такое истолкование является лицеприятным в отношении к Пушкину, который, конечно, притупляется этим пристрастием и вовсе не нуждается в такой защите. Он достоин того, чтобы самому ответить перед Богом и людьми за свои дела. Конечно, и Пушкин есть только человек, и, как таковой, подлежит влияниям, как и ограниченности своей среды, сословия или класса, и для определения этих влияний, понятно, уместны всякие социологические реактивы, к которым теперь так охотно прибегают. Но ими хотят до конца разъяснить жизнь Пушкина, а в частности и его дуэль, — и тем устранить самую личность Пушкина в неповторимой тайне ее самотворчества. В этом социологизме упраздняется и самая проблема всего «пушкинизма». И в ответ на такие посягательства надо сказать: руки прочь! Пушкин достоин того, чтобы за ним признана была и личная ответственность за свою судьбу, которая здесь возлагается всецело на немощные плечи этих «лукавых, малодушных, шальных, балованных детей, злодеев и тупых и скучных»⁴. Вершина не уничтожается предгориями. Наша задача понять личность Пушкина в его собственном пути и в его личной судьбе. Его жизнь хотя и протекала в определенной среде и ею исторически окрашивалась и извне направлялась, однако ею не определялась в своем собственном существе.

Ключом к пониманию всей жизни Пушкина является для нас именно его смерть, важнейшее событие и самооткровение в жизни всякого человека, а в особенности в этой трагической кончине. Но разве соединимы эти слова: «Пушкин и трагедия»? Разве не прославлен он именно как носитель аполлинического начала светлой гармонии, радостного служения красоте? Однако где же гармония в этом дионисическом буйстве с раздражением самого себя? Откуда этот страшный конец? Аполлон на смертном ложе после смертельного поединка! Для того, чтобы постигнуть эту трагедию, мы должны обратиться к творческой жизни Пушкина и установить некоторые ее основные черты. Однако они существенно связаны с тем, что составляет его природный характер, *homo naturalis*, и на нем прежде всего надо сосредоточить внимание.

Природный облик Пушкина отмечен не только исключительной одаренностью, но и таковым же личным благородством, духовным аристократизмом. Он родился баловнем судьбы, ибо уже по рождению принадлежал к высшему культурному слою старинного русского дворянства, что он сам в себе знал и так высоко ценил. Конечно, он наследовал и всю распущенность русского барства, которая еще усиливалась его личным «африканским» темпераментом. При желании в нем легко и естественно различается психология «класса» или сословия, как и обращенность к французской культуре, с ее утонченностью, но и с ее отравой. Величайший русский поэт говорил и мыслил по-французски столь же легко, как и по-русски, хотя творил он только на родном языке. Даром и без труда дана была ему эта приобщенность к Европе, как и лучшая по тому времени школа, столь трогательно любимый им лицей. Сразу же после школы он вступил на стезю жизни большого света с ее пустотой и распущенностью, и спасла его от духовной гибели или онегинского разложения его светлая муза. Пушкину от природы, быть может, как печать его гения, дано было исключительное личное благородство. Прежде всего и больше всего оно выражается в его способности к верной и бескорыстной дружбе: он был окружен друзьями в юности и до смерти, причем и сам он сохранил верность дружбе через всю жизнь. «Пушкинисты» очень интересуются «донжуанским» списком Пушкина⁵, но не менее, если не более интересно остановиться и над его дружеским списком, в который вошли все его великие или значительные современники. Эта способность к дружбе стоит в связи с другой его — и надо сказать — еще более редкой чертой: он был исполнен благоволения и сочувственной радости не только лично к друзьям, но и к их творчеству. Ему была чужда мертвящая зависть, темную и иррациональную природу которой он так глубоко прозрел в «Моцарте и Сальери»⁶. Подобен самому Пушкину его Моцарт, соединение гения и «гуляки праздного»:

За твое здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии!

Это голос самого Пушкина. Отношение Пушкина к современным писателям озарено сиянием этого благоволения: кого только из своих современников он не благословил к творчеству, не

возлюбил, не оценил! Он был поистине братом для сверстников и признательным сыном для старших. Нельзя достаточно налюбоваться на эту его черту. Даже его многочисленные эпиграммы, вызванные минутным раздражением, порывом гнева, большей частью благородного, или даже недоразумением, свободны от низких чувств. Есть еще и другая черта — природная, но и сознательно им культивированная, которая имеет исключительную важность для его облика: Пушкин не знал страха. Напротив, его личная отвага и связанное с этим самообладание давали ему неведомую для многих свободу и спокойствие. Достаточно вспомнить его в арзерумском походе (по воспоминаниям и его собственным запискам), или это утро последней дуэли, когда он за час до оставления дома пишет деловое письмо Ишимовой и зачитывается ее книгой с таким самообладанием, как будто то был самый обыкновенный день в его жизни⁷. «Есть наслаждение в бою, и бездны мрачной на краю». «Перед собой кто смерти не видал, тот полного веселья не вкушал». «Ты, жажда гибели, свободный дар героя»!⁸ Эта черта зримо и незримо пронизывает всю его жизнь, придает ей особую тональность свободы и благородства. Нельзя, однако, не видеть, сколь часто эта его безумная отвага овладевала им, а не он владел ею: отсюда не только бесстрашное, но и легкомысленное, безответственное отношение к жизни, бретерство, свойственное юности Пушкина в его дуэльных вызовах по пустякам, как и последнее исступление: «чем кровавее, тем лучше» (сказанное им между разговором Соллогубу о предстоящей дуэли)⁹. Страх не связывал Пушкина ни в его искании смерти, ни в стихийных порывах его страстей. И это свойство освобождало в нем необузданную стихийность, которая вообще характерна для его природы. Движение страстей овладевало им безудержно и безоглядно. Предохранительные клапаны отсутствовали, задерживающие центры не работали. Когда Пушкин становился игролищем страстей, он делался страшен (рассказ Жуковского в разговоре с Соллогубом о Геккерне: «губы его дрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения»¹⁰). Пушкин был стихийный человек, в котором сила жизни была неразрывно связана с буйством страстей, причем природные свойства не умерялись в нем ни рефлексией, ни аскетической самодисциплиной: он мог быть — и бывал — велик и высок в этой стихийности, но и способен был к глубокому падению. С этим связана и пушкинская эротика, которая находит для себя печальное выражение в его юношеской поэзии — отчасти под влиянием французской литературы. Пушкину пришлось горячо и ис-

кренне каяться в этом, — с истинным величием и беспощадной правдивостью, ему свойственными. Печальное проявление той же стихийности в Пушкине мы наблюдаем — притом на протяжении всей его жизни — также в страсти к картам, которая странным образом соединяется в нем с полной трезвостью и даже некоторой практичностью в денежных делах.

Эта африканская стихийность в Пушкине соединялась с пленительной непосредственностью, очаровательной детскостью поэта. Нельзя было не любоваться на этого веселого хохотуна, кипучего собеседника, шаловливого повесу. Он может с одинаковым самозабвением петь на базаре со слепцами¹¹, странствовать с цыганами¹², по-детски хлопать себе самому в ладоши за своего «Бориса»^{*13}, скакать под пулями впереди войск на Кавказ¹⁵, как и — увы! — отдаваться буйству Вакха и Киприды¹⁶. Детскость есть дар небес, но и трудный, иногда даже опасный дар, лишь тонкая черта отделяет его от ребячливости или, как мы бы сказали теперь, от инфантилизма и безответственности. В жизни Пушкина мы наблюдаем непрерывно двоящийся характер этого дара. Без него не было бы служителя муз, беспечного Моцарта, но и не было бы той безудержности перед соблазнами жизни, внутренними и внешними, которые мы с такой горечью в нем также видим... Ибо все двойится в природе падшей, даже и райские дары, после потерянного рая.

3

Все эти природные свойства образуют ту душевную атмосферу, в которой живет и развивается гений. Кто может поведать о тайне гения, кроме только его самого? Кому под силу вчувствование в жизнь гения, который имеет свое особое видение вещей — ясновидение? Гений созерцается нами как некое чудо, творческое откровение, которое содержит в себе нечто новое, оригинальное и потому недоступное рациональной рефлексии. Вероятно, состояние творчества гения есть чувство райского блаженства человека, для которого не стоит препоны между ним и миром, с него

* Мне рассказывал Л. Н. Толстой (в одну из немногих наших встреч¹⁴) со слов какой-то современницы Пушкина, как он хвалился своей Татьяной, что она хорошо отделала Онегина. В этом рассказе одного великого мастера о другом обнаруживается вся непосредственность творческого гения.

совлекаются «кожаные ризы», и он сознает себя в своей божественной первозданности, как дитя Божие.

«Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется», в ответ на него, как орел, пробуждается душа поэта. Однако даже и наряду с поэтическим гением нельзя не удивляться в Пушкине какой-то нарочитой зрячести ума: куда он смотрит, он видит, схватывает, являет. Это одинаково относится к глубинам народной души, к русской истории, к человеческому духу и его тайникам, к современности и современникам. Замечательно, что в этом труде гения безответственность отсутствует: «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво»¹⁷. Гений есть и труд, способный доводить вещь до завершенности, кончать... Пушкин способен сказать: «Миг вожденный настал, *окончен мой труд многолетний*»¹⁸. И понять подлинное значение этих слов можно, взглянув на его рукописи.

О том, как работал Пушкин, говорят, впрочем, не только его рукописи, но и вся его, так сказать, методика исследования, поэтического и исторического. Как писатель, Пушкин абсолютно ответственен. Он выпускает из своей мастерской лишь совершенные изваяния (конечно, кроме того словесного праха, который, к сожалению, бывал у него уносим порывом ветра, увлечением «и временным, и смутным»). Если самого Пушкина мудрость его светлого ума не всегда могла охранить от губельных страстей, то для других он является советником, ценителем, руководителем (как, например, для Гоголя). К сожалению, на него самого легко тяжелое влияние эпохи французского просветительства XVIII века, его эпикуреизма, вольтеринства, вместе с религиозным неверием. Но это было преодолено * Пушкиным естественно,

* В очерке «Александр Радищев» (1836 г.) мы читаем о Гельвеции: «Они жадно изучили начала его пошлой и бесплодной метафизики... Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей». По поводу сочинения Радищева «О человеке и его смертности и бессмертии» Пушкин говорит: «Умствования оно пошлы и не оживлены слогом. Радищев хотя и вооружается против материализма, но в нем еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма». (В этом же очерке, между прочим, Пушкин называет мысль «священным даром Божиим».) В «Мыслях на дороге» <«Путешествие из Москвы в Петербург»> говорится о благотворном влиянии немецкой философии на московскую молодежь тем, что «она спасла молодежь от холодного скептицизма французской философии». В юношеском стихотворении «Безверие» (1817 г.). Пушкин на основании опыта изображает его растлевающее влияние на умы, — когда «ум ищет Божества, а сердце не находит». К своему

с духовным его ростом, при наступлении зрелости: «Так краски чуждые с годами спадают ветхой чешуей»¹⁹. Здесь следует особенно отметить то, что можно определить как почвенность Пушкина, или, на теперешнем нашем языке, его «русскость». Пушкин отдал полную дань юношеской революционности, разлитой в тогдашнем обществе, в эту эпоху движения декабристов, но он рано преодолел их интеллигентскую утопичность и барскую беспочвенность. Пушкин никогда не изменял заветам свободы, не терял того свободолюбия, которое было неотъемлемо присуще его благородству и искреннему его народолюбию (от юношеского «В деревне»: «Увижу ли, друзья, народ освобожденный» — и до последнего: «Что в наш жестокий век восславил я свободу»). Однако Пушкин совершенно освободился от налета нигилизма, разрыва с родной историей, который составлял и составляет самую слабую сторону нашего революционного движения. Для нас не важно сейчас определять, в какой мере Пушкин переходил меру в своем консерватизме, может быть и под влиянием Жуковского. Все это — частности, но определяющим началом в мышлении Пушкина в пору его зрелости было духовное возвращение на родину, конкретный историзм в мышлении, почвенность. В этом же контексте он понимал и значение православия в исторических судьбах русского народа. Последнее, естественно, пришло вместе с преодолением безбожия и связанной с этим переоценкой ценностей. Действительно, мог ли Пушкин, с его проникающим в глубину вещей взором, остаться при скудной и слепой доктрине безбожия и не постигнуть всего величия и силы христианства? * Только бесстыдство и тупоумие способны утверждать без-

прошлому сам Пушкин умел относиться беспощадно: «Начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени. Много желал бы я уничтожить, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготеет как упрек на совести моей. По крайней мере не должен я отвечать за проказы» — «стихи, преданные мною забвению или написанные не для печати, или которые простительно было бы мне написать на 19-м году, но непростительно признать публично в возрасте зрелом и степенном» <«из статьи «Опровержение на критики», 1830».

* Известно отношение зрелого Пушкина к Библии и Евангелию во всей их святой единственности. Таково же оно и в отношении к христианству как исторической силе. Так он говорит о «проповедании Евангелия» среди кавказских горцев: «Разве истина дана для того, чтобы скрывать под спудом? Так ли мы исполняем долг христианина? Кто из нас, муж веры и смирения, уподобился святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и Америки, в рубищах, час-

божие Пушкина перед лицом неопровержимых свидетельств его жизни, как и его поэзии. Переворот или естественный переход Пушкина от неверия (в котором, впрочем, и раньше было больше легкомыслия и снобизма, нежели серьезного умонастроения) совершается в середине 20-х годов, когда в Пушкине мы наблюдаем определенно начавшуюся религиозную жизнь. Ее он в общем, по своему обычаю, таил, но о ней он как бы проговаривался в своем творчестве, и тем ценнее для нас эти свидетельства. Можно ли перед лицом всех его религиозных вдохновений говорить о нерелигиозности Пушкина? Пушкин как историк, как поэт и писатель, и наконец — что есть, может быть, самое важное и интимное — в своей семье, конечно, являет собой образ верующего христианина. Могло ли быть иначе для того, кто способен был прозревать глубину вещей, постигать действительность? В прошлом России он обрел образ летописца и слепца, прозревшего на мощах царевича Димитрия, в настоящем он услышал великолепную молитву и даже вразумление митрополита Филарета²². Он постигал всю единственность Библии и Евангелия²³. Он крестя призывал благословение Христово на семью свою при жизни (во многих письмах) и перед смертью²⁴. Он умилялся перед детской простотой молитвы своей жены, он знал Бога²⁵. И однако, если мы захотим определить меру этого ведения, жизни в Боге у Пушкина, то мы не можем не сказать, что личная его церковность не была достаточно серьезна и ответственна, вернее, она все-таки оставалась барски-поверхностной, с не-

то без обуви, крова и пищи, но оживленных теплом усердия?.. Мы умеем спокойно в великолепных храмах блестеть велеречием... Кавказ ожидает христианских миссионеров» («Путешествие в Арзерум»)²⁰. Пушкин с тревожным интересом проверяет молву, будто язиды поклоняются сатане. Убедившись в неверности ее, он прибавляет: «Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются, и заблуждения их показались мне гораздо простительнее» <там же, гл. III>. В отношении к значению православия для русского народа следует вспомнить следующие суждения Пушкина: «Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени». Но «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер. В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических... огражденное святыней религии, оно было всегда посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей историей, следовательно, и просвещением» («Историческ<ие> очерки», 1822 г.)²¹.

преодоленным язычеством сословия и эпохи *. Кажалось, орлиному взору Пушкина все было открыто в русской жизни. Но как же взор его в жизни церковной не устремился дальше святогорского монастыря и даже м. Филарета? ** Как он не заметил, хотя бы через своих друзей Гоголя и Киреевского, изумительного явления Оптиной пустыни с ее старцами? Как мог он не знать о святителе Тихоне Задонском? И, самое главное, как мог он не слышать о преподобном Серафиме, своем великом современнике? Как не встретились два солнца России? Последнее есть роковой и значительный, хотя и отрицательный, факт в жизни Пушкина, имеющий символическое значение: Пушкин прошел *мимо* преп. Серафима, его не приметя²⁸. Очевидно, не на путях исторического, бытового и даже мистического православия пролегла основная магистраль его жизни, судьбы его. Ему был свойствен свой личный путь и особый удел, — предстояние пред Богом в служении поэта.

4

Что есть поэзия и чему служит поэт? «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли», — сказал друг Пушкина Жуковский²⁹. Точнее эта мысль должна быть выражена так: поэзия божественна в своем источнике, она есть созерцание славы Божества в творении. Не Бог, но Божество, Его откровение в творении, по преимуществу доступно поэзии. Поэтическое служение, достойное своего жребия, есть священное и страшное служение: поэт в своей художественной правде есть свидетель горнего мира, и в этом призвании он есть «сам свой высший суд». Поэты «рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв», и это вдохновение есть «признак Бога», «чистое упоение любви поэзии святой». Но оно знает и над собой еще более высший суд, пред которым склоняется: «*Веленью Божию, о муза, будь послушна*». Поэзия есть

* Больно читать в письме к жене — особенно в свете собственной судьбы Пушкина — его совершенно языческое, хотя и свойственное его кругу, суждение о дуэли. «То, что ты пишешь о Павлове, примирило меня с ним. Я рад, что он вызвал Апрелева. У нас убийство может быть гнусным расчетом: оно избавляет от дуэли и подвергается одному наказанию, а не смертной казни»²⁶.

** Собственное отношение Пушкина к митрополиту Филарету (по крайней мере позднейшее) является отнюдь не положительным: в заметках 1835 г. он называет его «старым лукавцем»²⁷.

служение истине в красоте, но не лживым призракам, облеченным в красоту, растлевающим музу *. Что же именно заставляет поэта называть поэзию святой? Свято для него (в своем особом смысле) служение красоте, способность «благоговеть богомольно пред святыней красоты», ее видение и свидетельство о ней чрез творческое видение в искусстве. Поэт воспринимает мир как откровение красоты, в которой и чрез которую ему открывается, становится доступной и мудрость. Источник красоты в небесах, истинная красота — от Духа Святого. Знал ли это Пушкин? Ведал ли он, каким избранием отяготела на нем рука Божия в его поэтическом даре?

Было бы наивно и «прелестно» думать, что падшему человеку, хотя бы и великому поэту, доступна в чистоте небесная красота, светлое ее пламя, купина неопалимая. Небесные лучи проникают в поднебесную, разлагаясь и преломляясь в сердце человеческом, из которого исходят все помышления его, добрые и злые. Искусство не автоматически и не медиумично в своих вдохновениях, в нем совершается личное творчество, откровение личности поэта, возносимого на крыльях красоты. Уже Платон знал, что есть не одна, но две красоты, две Афродиты: небесная и простонародная, ангельская и бесовская³¹. Знал и Достоевский, что «красота — страшная вещь, здесь Бог с диаволом борется, а поле битвы — сердца людей»³². Знал это, по-своему, конечно, и Пушкин, который являлся одновременно служителем красоты, как и ее пленником **. Человеческому сердцу дано растлевать красоту и растлеваться ею, и властью этой обладает и искусство. В низинах его пресмыкается блуд, живет «великая

* Двусмысленно и соблазнительно звучащие слова:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман —

в контексте теряют свое значение, что «viel lügen die Dichter»³⁰ <много лгут поэты (нем.)>.

** В часы забав иль праздной скуки
Бывало музе я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей,

но

Твоим огнем душа пала
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Две красоты, два вдохновения, как бы две лиры.

блудница, тайна, вавилон великий»³³, на вершинах горит заря бессмертия, открывается «Бог в святых мечтах земли». Чем же было поэтическое творчество для Пушкина? Пушкин говорит о святости поэзии, о святом ее очаровании, о святине красоты. Святость есть вообще у него самая высшая категория. Будучи менее всего философом по складу своего ума, Пушкин является подлинным мудрецом относительно поэзии, как служения красоты. И самый важный вопрос, который здесь возникает о Пушкине, таков: каково в нем было отношение между поэтом и человеком в поэзии и жизни? Кто его муза: «Афродита небесная» или же «простонародная»? Нельзя отрицать, что Пушкин нередко допускал до себя и последнюю, поэтизировал низшие, «несублимированные» и непреображенные страсти, тем совершая грех против искусства, его профанируя. Но все же и при этой профанации, за которую он сам же себя бичевал впоследствии, Пушкин твердо знал, что поэзия приходит с высоты, и вдохновение — «признак Бога», дар божественный. Пушкин никогда не был атеистом в поэзии, даже в те времена, когда он принимал свою лиру до недостойных кощунств и пародий*. Здесь нельзя не остановиться на постоянных и настойчивых свидетельствах Пушкина об его музе, которая «любила его с младенчества» и в разных образах являлась ему на его жизненном пути**³⁶.

* Характерно его отношение к «Гавриилиаде», которая представляет собой главный поэтический грех Пушкина (именно поэтический, а не эстетический, потому что эстетически она стоит на уровне его мастерства). Едва ли можно сомневаться в ее принадлежности пушкинскому перу — и однако, мы наблюдаем его стремление даже перед друзьями всячески отрицаться этого произведения (и уж конечно по мотивам не только практическим). Так, он пишет кн. Вяземскому (в 1828 г.): «Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительств дошла наконец Гавриилиада, приписывают ее мне, донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность»³⁴. Кроме беспардонных эстетов (или тупоумных безбожников), все читатели Пушкина испустили бы вздох облегчения, если бы действительно могли поверить в авторство Горчакова и его способность владеть пушкинским стихом³⁵.

** Мы имеем в поэзии Пушкина многообразные и многочисленные свидетельства о музе. Сюда относятся: «Муза» (1821, «В младенчестве моем»), «Моя эпитафия» (1815), «Чаадаеву» (1821), «Наперсница веселой старины» (1821), «Вот муза, резвая болтунья» (1821), «К ***» (1822, «Ты прав, <мой друг>»), «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824), «19 октября 1825 г.», особенно же 8-я глава «Евгения Онегина», строфы I—VI, где изображается поэтическая жизнь Пушкина в различных явлениях его музыки, которые как будто пронизыва-

Что это? Литературный образ? Но слишком конкретен и мас-сивен этот образ у Пушкина, чтобы не думать, что за ним скры-вается подлинный личный опыт какого-то наития, как бы духов-ного одержания. Не есть ли пушкинская муза самосвидетельство софийности его поэзии, воспринимаемое им «яко зеркалом в га-дании»? Это наитие описывается им как некое пифийство, в ко-тором испытывается блаженство вдохновения.

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне,
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем.

Но при этой как будто произвольности поэзия самоотвер-женна. Она есть труд и служение: «Веленью Божию, о муза, будь послушна». Насколько же это послушание распространяется от музыки и на самого поэта? Да, оно не совместимо с низостью и пре-ступлением, Бонаротти не мог быть убийцей, ибо «гений и зло-действие две вещи несовместимые». Но требует ли святыня кра-соты святости от своего служителя? Если она свята, свят ли служитель? Пушкин в «Поэте» дает на этот вопрос столь же прав-дивый, сколько и страшный ответ:

Доколе не требует поэта
К священной жертве Аполлон
.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Стало быть, в поэте может быть совмещено величайшее нич-тожество с пифийным наитием «божественного глагола», «два плана» жизни без всякой связи между ними³⁷. Выразил ли здесь Пушкин то, что сам он считал нормальным соотношением меж-ду творцом и творчеством? или же это есть стон души плененной, которая сама ужасается своей плененности и подвергает ее бес-

ют красотой и смыслом мелькающую жизнь, ее «мышью беготню», от мелкого и обыденного до самого высокого.

Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн Отцу миров (<строфа> VI).

пощадному суду? Дается ли здесь поэту, так сказать, право на личное ничтожество? И совместимо ли это последнее с самодовлеющим величием «царя» в его одиночестве и свободе, в жертвенности его служения? Не обращается ли здесь поэт со словом укора и раскаяния, ему столь свойственных, к самому себе, к своему духу?

Вторая половина 20-х годов есть наиболее важная эпоха в творческой жизни Пушкина, когда в нем совершается духовное пробуждение и окончательно преодолевается легкомыслие юношеского атеизма и эпикурейства: в муках кризиса Пушкин как будто рождается духовно. Он в это время переживает ужас духовной пустоты: «Дар мгновенный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Он судит теперь свою юность высшим, нелицеприятным судом: «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю».

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье,
Но, как вино, печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней (1830).

Надо считаться с тем, как умело таит себя Пушкин и как был правдив и подлинен он в своей поэзии, при суждении об этих сравнительно немногих высказываниях, чтобы оценить во всем значении эти вехи сокровенного его пути к Богу. И эти вехи приводят нас к тому, что является не только вершиной пушкинской поэзии, но и всей его жизни, ее величайшим событием. Мы разумеем «Пророка». В зависимости от того, как мы уразумеваем «Пророка», мы понимаем и всего Пушкина. Если это есть только эстетическая выдумка, одна из тем, которых ищут литераторы, тогда *нет* великого Пушкина, и нам нечего ныне праздновать. Или же Пушкин описывает здесь то, что с ним самим было, т. е. данное ему видение божественного мира под покровом вещества?³⁸ Сначала здесь говорится о томлении духовной жажды, которое его гонит в пустыню: уже не Аполлон зовет к своей жертве «ничтожнейшего из детей мира», но пророчесственный дух его призывает, и не к своему собственному вдохновению, но к встрече с шестикрылым серафимом, в страшном образе которого ныне предстает ему Муза. И вот

Моих зениц коснулся он —
Открылись вещи зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон.

И внял я неба содроганье,
 И горный ангелов полет,
 И гад морских подводный ход,
 И дольней лозы прозябанье.

За этим следует мистическая смерть и высшее посвящение:

И он к устам моим приник,
 И вырвал грешный мой язык,
 И празднословный, и лукавый,
 И жало мудрое змеи
 В уста замершие мои
 Вложил десницею кровавой.
 И он мне грудь рассек мечом,
 И сердце трепетное вынул,
 И угль, пылающий огнем,
 Во грудь отверстую водвинул.
 Как труп в пустыне я лежал...

И после этого поэт призывается Богом к пророческому служению: «Исполниись волею Моей». В чем же эта воля? «Глаголом жги сердца людей»!

Если бы мы не имели всех других сочинений Пушкина, но перед нами сверкала бы вечными снегами лишь эта одна вершина, мы совершенно ясно могли бы увидеть не только величие его поэтического дара, но и всю высоту его призвания. Таких строк нельзя *сочинить*, или взять в качестве литературной темы, переложения, да это и не есть переложение. Для пушкинского «Пророка» нет прямого оригинала в Библии. Только образ угля, которым коснулся уст Пророка серафим, мы имеем в 6-й главе кн. Исаии³⁹. Но основное ее содержание, с описанием богоявления в храме, существенно отличается от содержания пушкинского «Пророка»: у Исаии описывается явление Бога в храме, в «Пророке» явлена софийность природы. Это совсем разные темы и разные откровения. Однако и здесь мы имеем некое обрезание сердца, Божие призвание к пророческому служению. Тот, кому дано было сказать эти слова о Пророке, и сам ими призван был к пророческому служению. Совершился ли в Пушкине этот перелом, вступил ли он на новый путь, им самим осознанный? Мы не смеем судить здесь, дерзновенно беря на себя суд Божий. Но лишь в свете этого призвания и посвящения можем мы уразумевать дальнейшие судьбы Пушкина. Не подлежит сомнению, что поэтический дар его, вместе с его чудесной прозорливостью, возростал, насколько он мог еще возрастать, до самого конца его дней. Какого-либо ослабления или упадка в Пушкине как *писателе* нельзя усмотреть. Однако остается открытым вопрос, можно ли

видеть в нем то *духовное* возрастание, ту растущую напряженность духа, которых естественно было бы ожидать, после 20-х годов, на протяжении 30-х годов его жизни? Не преобладает ли здесь мастерство над духовной напряженностью, искусство над пророчесственностью? Не чувствуется ли здесь скорее некоторое духовное изнеможение, в котором находящийся во цвете сил поэт желал бы скрыться в заоблачную келью, хотя и в «соседство Бога», а сердце, которое умело хотеть «жить, чтобы мыслить и страдать», просит «покоя и воли» — «давно, усталый раб, замыслил я побег»? * Эту тонкую, почти неуловимую перемену в Пушкине мы хотим понять, чтобы и в этом также от него научиться.

Можно без конца надрыватьсь в обличениях среды, в которой вращался Пушкин. И тем не менее всего этого недостаточно, чтобы объяснить то духовное его изнеможение, которое явственно обозначается у него с 30-х годов. Что же именно произошло с ним самим, в его свободе, в его духе, от всего внешнего отвлекаясь, хотя бы его и учитывая? Неужели же та самая Россия, которая могла породить и вскормить Пушкина, с известного времени оказалась способна его только удушить и, наконец, погубить? **

5

В «полдень» жизни Пушкин, после распущенности бурной юности, испытывает потребность семейного уюта: «Мой идеал теперь хозяйка, да щей горшок, да сам большой». Однако выполнить эту «фламандскую» программу жизни для вовсе не фламандского поэта было не так просто, чтобы не сказать невозможно, как невозможно было бы это для его «Бедного рыцаря», опаленного видением нездешней красоты. Именно трагедия красоты, являемой в образах женской прелести, как раз подстерегала Пушкина на его фламандских путях. Земная красота трагична, и

* Правда, почти одновременно с этим стоном поэт хочет уверить себя:

О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить хочу, я жить люблю,
Душа *не* вовсе охладела,
Утратив молодость свою⁴⁰.

** Действительно, Пушкин однажды обмолвился в письме к жене (уже в 1836 г.): «...догадало меня родиться в России с душой и талантом»⁴¹. Однако это есть стон изнеможения от своей жизни, но не выражение его основного чувства к родине, его почвенности.

страсть к ней в земных воплощениях таит трагедию и смерть. Афродита и Гадес — одно: это знали еще древние⁴². И само откровение о любви также свидетельствует: «Крепка, как смерть, любовь, и как преисподняя — ревность» (Песнь Песней)⁴³. И Пушкину суждено было сгореть на этом огне. Однако первоначально узел трагедии завязывается в идиллии: Пушкин пытается свить себе семейное гнездо. Отныне судьба его определится встречей с красавицей Гончаровой. Он пережил эту встречу (после других «видений чистой красоты») еще раз, как явление «святыни красоты»*, облекавшей, однако, довольно прозаическую посредственность. Пушкин в ослеплении влюбленности называл ее даже и «мадонной», явно смешивая и отождествляя внешнюю красоту и духовную святость. Однако она одинаково не оказалась ни «хозяйкой», потому что этому мешало ее призвание быть царицей балов, ни музой (известно ее равнодушие к творчеству Пушкина)⁴⁵. Однако именно красота сделалась для него узамы всяческого рабства**. Его уделом было искать денег во что бы то ни стало на туалеты жены и светскую жизнь. Нельзя не чувствовать жгучей боли перед этой картиной жизни Пушкина, который до известной степени и сам погружался в эту пустоту светской жизни***. И конечно, не в ничтожном Дантесе или в коварном

* «В альбом красавицы» обычно относится именно к Н. Н. Гончаровой. Правда, единственный автограф этого стихотворения, найденный в 1930 году, оказался вырванным из альбома другой красавицы, гр. Е. М. Завадовской, но это не имеет решающего значения для вопроса об его первоначальном назначении и посвящении⁴⁴.

** Пушкин уверяет самого себя в письме к жене (уже в 1832 г.): «Никогда я не думал упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив». (Этому утверждению совершенно не соответствуют фактические обстоятельства, сопровождавшие его женитьбу: Пушкин и тогда уже сравнительно легко утешался в своих неудачах.) «Но, — продолжает поэт, — я не должен был вступать на службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами... Теперь они смотрят на меня как на холопа. Но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни»⁴⁶.

*** Гоголь жалуется Данилевскому: «Пушкина нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирует всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай или более необходимость не затащат его в деревню»⁴⁷. Мы видим, как Пушкин время от времени порывается выйти в отставку, сбросить цепи, уехать, и, когда это случалось, его в деревенском уединении посещало вдохновение. Но это желание неизбежно разбивалось о разного рода препятствия, которые оказались непреодолимыми для Пушкина.

Геккерене, которые явились орудием его рока, надо видеть истинную причину гибели Пушкина, а во всем этом пути жизни, на который поставлен он был после женитьбы. Он не есть ни путь поэта, ни тайновидца мира. В конце своего жизненного пути Пушкин задыхался и искал смерти, и это толкало его к гибели на дуэли. Раньше Дантеса и Геккерена он вызывал в 1836 году на дуэль своего друга графа Соллогуба⁴⁸ и близок был к тому же относительно князя Репнина⁴⁹. Овладевавшее им отчаяние нашло в домогательствах и интригах обоих Геккеренов наиболее естественный и как будто оправданный исход. Но эта встреча (вместе с анонимными письмами и дипломом) является все-таки второстепенной и сравнительно случайной. Решающим было то, что *так* жить Пушкин не мог, и такая его жизнь неизбежно должна была кончиться катастрофой. Скорее нужно удивляться тому, как еще долго мог он выносить эту жизнь, состоявшую из бесконечной серии балов, искания денег, придворной суеты. Здесь, конечно, не следует умалять — как не следует и преувеличивать — раздражающего действия правительственного надзора, бессмыслия цензуры, неволи камер-юнкерства. Пушкина спасал лишь его чудесный поэтический дар: михайловские роци при- яли в нем

...уже

Усталого пришельца. Я еще был молод, но судьба
 Меня борьбой неравной истомила.
 Я был один. Врага я видел в каждом,
 Изменника — в товарище минутном,
 И бурные кипели в сердце чувства,
 И ненависть, и греза мести бледной.
 Но здесь меня таинственным щитом
 Прощение святое осенило,
 Поэзия, как ангел-утешитель,
 Спасла меня⁵⁰.

По свидетельству друзей, Пушкин почти накануне дуэли был исполнен особого религиозного вдохновения, он говорил о путях Провидения, о благоволении⁵¹. Но это были светоносные молнии во мраке его собственной неудачнической жизни.

Что же произошло в судьбе Пушкина, как создалась эта безысходность в жизни того, кому дано было животворить? Мы можем сейчас почти с фотографической точностью изобразить внешний ход событий со всей их роковой неизбежностью и далее — соответственно личным взглядам — заклеить с наибольшей силой: свет, двор, царя, жену Пушкина. Но в духовной жизни внешняя принудительность имеет не абсолютную, а лишь относительную силу: нет железного рока, а есть духовная судьба, в которой пос-

ледовательно разворачиваются и осуществляются внутренние самоопределения. И в этом смысле судьба Пушкина есть, прежде всего, его собственное дело. Отвергнуть это, значит совершенно лишиться его самого ответственного дара — свободы, превратив его судьбу в игральнице внешних событий. Над свободой Пушкина до конца не властны были одинаково ни бенкендорфовская полиция, ни мнение света, ни двор. Итак, речь идет о том, что именно происходило в душе самого Пушкина?

Смерть на дуэли не явилась неожиданной случайностью в жизни Пушкина. Напротив, призрак ее, как некий рок, как навязчивая идея, преследовал его воображение. Он как будто заранее переживал ее в творческом воображении, уже в «Евгении Онегине» (после убийства Ленского «окровавленная тень ему являлась каждый день»), и даже как будто наперед произносил суд над собой *. Так же томило его и предчувствие скорой смерти, которой он одновременно и ждал, и вместе по-язычески отворачивался. Постигал он в поэтическом воображении заранее и муки ревности **.

* Вот этот суд:

(Онегин) был должен оказать себя
 Не мячиком предубеждений,
 Не пылким мальчиком, бойцом,
 Но мужем с честью и умом.
 Но шепот, хохотня глупцов,
 И вот общественности мненье,
 Пружина чести, наш кумир,
 И вот на чем вертится мир.

(«Евг. Онег<ин>», гл. 6, стр. X—XI).

** Трудно сказать об этом что-либо более сильное, нежели им самим сказано:

Да, да, ведь ревности припадки —
 Болезнь так точно, как чума,
 Как черный сплин, как лихорадка,
 Как повреждение ума.
 Она горячкой пламенеет,
 Она свой жар, свой бред имеет,
 Сны злые, призраки свои,
 Помилуй Бог, друзья мои,
 Мучительней нет в мире казни
 Ее терзаний роковых.
 Поверьте мне, кто вынес их,
 Тот уж, конечно, без боязни
 Взойдет на пламенный костер
 Иль шею склонит под топор.

(«Евг. Онег<ин>», гл. 6, стр. XV)⁵².

Противник Пушкина был настолько его недостоин, что нужно говорить не о нем, а о том вулкане страсти, который бушевал в сердце поэта и искал извержения. В этом совершалась судьба Пушкина, как трагедия красоты. На крыльях ее он был вознесен на высоту, но служитель красоты нездешней оказался в цепях неволи красоты земной. И эта неволя как будто заглушила в нем слышанное в пустыне, потеряна была дорога жизни.

...все дороги занесло!
Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Что же случилось, помимо пошлых дипломов и пасквилей, ухаживаний Дантеса, суждений света и проч., — где произошел надлом жизни, отклонение ее пути от собственной траектории?

Когда Пушкин встретил свою будущую жену, она была 16-летней девочкой. Он пленился ее красотой, которая заставила снова зазвенеть струны его лиры и всколыхнула глубочайший слой его души. Он созерцал ее, благоговей «богомольно пред святыней красоты», о ней он писал: «Творец тебя послал, моя Мадонна, чистейшей прелести чистейший образец». Она стала грезой его вдохновения. Но эта красота была только красотой, формой без содержания, обманчивым сиянием.

Не будь Гончарова красавицей, Пушкин прошел бы мимо, ее просто не заметив. Но теперь он сделался невольником — уже не красоты, а Натальи Гончаровой. Это было первое трагическое противоречие, влекущее к трагической гибели Пушкина. Достоевский говорит о соблазнительном смещении Мадонны и Венеры под покровом красоты⁵³. Здесь же соединились «мадонна» и фрейлина петербургского двора⁵⁴, светская дама с обывательской психологией. И кроме того, Пушкин вступил в брак с предметом своего поэтического поклонения, желая в то же время получить в ней «хозяйку» и жену. В Пушкине, в свое время отдавшем полную дань беспутству молодости, теперь пробудился отец и семьянин (хотя, впрочем, отнюдь не безупречный). Письма его к жене исполнены семейственных чувств и забот, дают тому трогательное свидетельство. Но всеобщее поклонение жене Пушкина было отнюдь не «богомольным благоговением перед святыней красоты», а обычным волокитством, получившим для себя наиболее яркое выражение в образе Дантеса. Собственное же «благоговение», или поэтическое созерцание красоты, в Пушкине превратилось в исступленную ревность, настоящее безумие стра-

сти. Этот сначала под пеплом тлеющий огонь, затем бурно вспыхнувшее пламя мы мучительно наблюдаем в последние годы жизни Пушкина. Время от времени невольник хочет сбросить с себя эти цепи, вырваться из заколдованного круга петербургского двора, уехать в деревню *, но эти порывы остаются бессильны: двор, жена, обстоятельства его не отпускают, да и сохранилась ли к тому достаточно твердая воля, не расслабленная неволей? Пушкин спасается в творчестве, пророк ищет себе убежища в поэте. Поэтический дар Пушкина не ослабевает. Правда, он уже не достигает тех духовных восхождений, к которым призывает пророк. Пророческое творчество в нем, извне столь «аполлиническое», уживается с мрачными безднами трагического дионисизма, сосуществованием *двух* планов, в которых творчество продолжает свою жизнь преимущественно как писательство. Для многих писателей, если не для большинства, такая двупланность является удовлетворяющим жизненным исходом, духовным обытательством, увенчиваемым музой. Так для многих, но не для Пушкина. Ибо Пушкин был Пушкин, и его жизнь не могла и не должна была благополучно вмещаться в двух разделных планах. Расплавленная лава страсти легко разрывает тонкую кору призрачного аполлинизма, начинается извержение.

Совершилось смещение духовного центра. Равновесие, необходимое для творчества, было утрачено, и эта утрата лишь прикрывалась его железным самообладанием. *Духовный* источник творчества иссякал, несмотря на то что в его распоряжении оставались все художественные средства его поэтического дара, вся палитра красок. Дойдя до роковой черты барьера, он стал перед жребием: убить или быть убитым. Конечно, Пушкин, если бы рок судил ему стать убийцей, оказался бы выше своего Онегина, и никогда бы не смог позабыть это и опуститься до его духовной пустоты. Во всяком случае, за этой гранью все равно должна начаться для него новая жизнь с уничтожением двух планов, с торжеством одного, того высшего плана, к которому был он призван «в пустыне».

Является превышающим человеческое ведение судить, достигну ли было для души Пушкина новое рождение на путях жизни. Но Промысл Божий судил иначе: этим новым рождением для него явилась смерть, и путь к нему шел через врата смерти. Трагическая гибель явилась катарсисом в его трагической

* После стихотворения «Пора, мой друг, пора» читаем приписку: «О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню! Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь etc. Религия, смерть»⁵⁵.

жизни, очищенная и свободная вознеслась душа Пушкина. Вне этого *трагического* смысла смерть Пушкина была бы недостойна его жизни и творчества, явилась бы подлинно величайшей бессмыслицей или случайностью. И лишь этот спасительный катарсис исполняет ее трагическим и величественным смыслом, который дано было ему явить на смертном одре в великих предсмертных страданиях. Ими он покупал утраченную им свободу, освобождался от земного плена, восходя в обитель Вечной Красоты.

6

В трагедии Пушкина обнаружилась вся недостаточность для *жизни* только одной поэзии, ибо писатель, даже гениальный, еще не исчерпывает и не определяет собой человека. В истории дуэли и смерти Пушкина мы наблюдаем два чередующихся образа: разъяренного льва, который может быть даже прекрасен, а вместе и страшен в царственной львиности своей природы, и просветленного христианина, безропотно и умирненно отходящего в покой свой.

Этот образ сохранен для нас Жуковским, вместе с другими свидетелями смерти Пушкина. Свидетельство Жуковского убедительно одинаково как положительными чертами, так и отсутствием диссонансов, даже если допустить известную стилизацию⁵⁶. Этого нельзя выдумать и сочинить даже Жуковскому. В умирающем Пушкине отступает все то, что было присуще ему накануне дуэли. Происходит явное преображение его духовного лика — духовное чудо. Из-под почерневшего внешнего слоя просветляется «обновленный» лик, светоносный образ Пушкина, всепрощающий, незлобивый, с мужественной покорностью смотрящий в лицо смерти, достигающий того духовного мира, который был им утрачен в страсти. Заповедь: *любите враги ваши*⁵⁷ — стала для него доступной. Он примирился, простил врагов, крови которых он только что жаждал. Простая детская вера в Бога и Его милосердие, столь свойственная светлой детскости его духа, озаряет его своим миром. Приняв напутствие церковное, он благословляет семью, прощается с друзьями и безропотно и бесстрашно отстрадывает последние часы. Мы можем опознать как бы отдельные моменты в этой гефсиманской ночи, различить наступившие ее свершения в этих телесных страданиях, смертной тоске, таившей страшные муки раскаяния и ужаса перед содеянным. Но все это было побеждено христиан-

ским доверием к Промыслу: да будет воля Твоя! На смертном одре поэт-христианин в молчании своем снова поднимается до просветления пророка, через смерть восходя к духовному воскресению...

Земная жизнь уже закончилась на дуэли. Наступил лишь краткий, но решительный эпилог, в котором в священном молчании изжито было ее содержание, подведены итоги. Часы и минуты переживались как годы. Спадали ветхой чешуей чуждые краски, утихали страсти, от спасительного взрыва обнажалась первозданная стихия.

«...Я долго смотрел один ему в лицо после смерти (пишет Жуковский). Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти... Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было также выражение поэтическое. Нет, какая-то глубокая удивительная мысль на нем разливалась, что-то похожее на видение, а какое-то полное, глубокое, удовлетворенное знание... В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную смерть без покрывала»⁵⁸.

Кончина Пушкина озарена потусторонним светом. Она является разрешительным аккордом в его духовной трагедии, есть ее катарсис. Он представляется достойным завершением жизни великого поэта и в этом смысле как бы его апофеозом.

